

Часы. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://turgenevivan.ru/> Приятного чтения!

Часы. Иван Сергеевич Тургенев

Рассказ старика 1850 г.

I

Расскажу вам мою историю с часами...

Курьезная история!

Дело происходило в самом начале нынешнего столетия, в 1801 году. Мне только что пошел шестнадцатый год. Жил я в Рязани, в деревянном домике, недалеко от берега Оки – вместе с отцом, теткой и двоюродным братом. Мать свою я не помню: она скончалась года три после замужества; кроме меня, у отца моего детей не было. Звали его Порфирием Петровичем. Человек он был смиренный, собою неказистый, болезненный; занимался хождением по делам тяжёлым[1] и иным. В прежние времена подобных ему людей обзывали подъячими[2], крючками, крапивным семенем; сам он величал себя стряпчим[3]. Нашим домашним хозяйством заведовала его сестра, а моя тетка – старая, пятидесятилетняя дева; моему отцу тоже минул четвертый десяток. Большая она была богомолка – прямо сказать: ханжа; тараторка, всюду нос свой совала; да и сердце у ней было не то, что у отца, – недоброе. Жили мы – не бедно, а в обрез. Был у моего отца еще брат, Егор по имени; да того за какие-то якобы «возмутительные поступки и якобинский образ мыслей»[4] (так именно стояло в указе) сослали в Сибирь еще в 1797 году.

Егоров сын, Давид, мой двоюродный брат, остался у моего отца на руках и проживал с нами. Он был старше меня одним только годом; но я преклонялся перед ним и повиновался ему, как будто он был совсем большой. Малый он был не глупый, с характером, из себя плечистый, плотный, лицо четырехугольное, весь в веснушках, волосы рыжие, глаза серые, небольшие, губы широкие, нос короткий, пальцы тоже короткие – крепьш, что называется, – и сила не по летам! Тетка терпеть его не могла; а отец – так даже боялся его... или, может быть, он перед ним себя виноватым чувствовал. Ходила молва, что, не проболтайся мой отец, не выдай своего брата, – Давыдова отца не сослали бы в Сибирь! Учились мы оба в гимназии, в одном классе, и оба порядочно; я даже несколько лучше Давыда... Память у меня была острее; но мальчишки – дело известное! – этим превосходством не дорожат и не гордятся, и Давыд все-таки оставался моим вожаком.

II

Зовут меня – вы знаете – Алексеем. Я родился 7-го, а именинник я 17-го марта. Мне, по старозаветному обычаю, дали имя одного из тех святых, праздник которых приходится на десятый день после рождения. Крестным отцом моим был некто Анастасий Анастасьевич Пучков, или, собственно: Настасей Настасевич; иначе никто его не величал. Сутяга[5] был он страшный, кляузник, взяточник – дурной человек совсем; его из губернаторской канцелярии выгнали, и под судом он находился не раз; отцу он бывал нужен... Они вместе «промышляли». Из себя он был пухлый да круглый; а лицо как у лисицы, нос шилом; глаза карие, светлые, тоже как у лисицы. И всё он ими двигал, этими глазами, направо да налево, и носом тоже водил – словно воздух нюхал. Башмаки носил без каблуков и пудрился ежедневно, что в провинции тогда считалось большою редкостью. Он уверял, что без пудры ему быть нельзя, так как ему приходится знаться с генералами и с генеральшами.

И вот наступил мой именинный день! Приходит Настасей Настасевич к нам в дом и говорит:

– Ничем-то я доселева, крестничек, тебя не дарил; зато посмотри, каку штуку я тебе принес сегодня!

И достает он тут из кармана серебряные часы луковицей[6], с написанным на циферблате розаном и с бронзовой цепочкой! Я так и сомлел от восторга, – а тетка, Пелагея Петровна, как закричит во все горло:

– Целуй руку, целуй руку, паршивый!

Я стал целовать у крестного отца руку, а тетка знай причитывает:

– Ах, батюшка, Настасей Настасевич, зачем вы его так балуете! Где ему с часами

Часы. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
справиться? Уронит он их, наверное, разобьет или ломает!

Вошел отец, посмотрел на часы, поблагодарил Настасеича – небрежно таково, да и позвал его к себе в кабинет. И слышу я, говорит отец, словно про себя:

– Коли ты, брат, этим думаешь отделаться...

Но я уже не мог устоять на месте, надел на себя часы и бросился стремглав показывать свой подарок Давыду.

### III

Давыд взял часы, раскрыл и внимательно рассмотрел их. У него большие были способности к механике; он любил возиться с железом, медью, со всякими металлами; он обзавелся разными инструментами, и поправить или даже заново сделать винт, ключ и т. п. – ему ничего не стоило.

Давыд повертел часы в руках и, пробурчав сквозь зубы (он вообще был неразговорчив):

– Старые... плохие... – прибавил: – Откуда?

Я ему сказал, что подарил мне их мой крестный.

Давыд вскинул на меня свои серые глазки:

– Настасей?

– Да, Настасей Настасеич.

Давыд положил часы на стол и отошел прочь молча.

– Они тебе не нравятся? – спросил я.

– Нет; не то... а я на твоём месте от Настасея никакого подарка бы не принял.

– Почему?

– Потому что человек он дрянь; а дряни-человеку одолжаться не следует. Еще спасибо ему говори. Чай, руку у него поцеловал?

– Да, тетка заставила.

Давыд усмехнулся – как-то особенно, в нос. Такая у него была повадка. Громко он никогда не смеялся: он считал смех признаком малодушия.

Слова Давыда, его безмолвная улыбка меня глубоко огорчили. Стало быть, подумал я, он меня внутренне порицает! Стало быть, я тоже дрянь в его глазах! Сам он никогда до этого бы не унился, не принял бы подачки от Настасея! Но что мне теперь остается сделать?

Отдать часы назад? Невозможно!

Я попытался было заговорить с Давыдом, спросить его совета. Он мне ответил, что никому советов не дает и чтоб я поступил, как знаю. Как знаю?! Помнится, я всю ночь потом не спал: раздумье меня мучило. Жаль было лишиться часов – я их положил возле постели, на ночной столик; они так приятно и забавно постукивали... Но чувствовать, что Давыд меня презирает... (да, нечего обманываться! он презирает меня!)... это мне казалось невыносимым! К утру во мне созрело решение... Я, правда, всплакнул – но и заснул зато, и как только проснулся – наскоро оделся и выбежал на улицу. Я решился отдать мои часы первому бедному, которого встречу.

### IV

Я не успел отбежать далеко от дому, как уже наткнулся на то, что искал. Мне попался мальчик лет десяти, босоногий оборвыш, который часто шлялся мимо наших окон. Я тотчас подскочил к нему и, не дав ни ему, ни себе времени опомниться, предложил ему мои часы.

Часы. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

Мальчик вытарашил глаза, одной рукой заслонил рот, как бы боясь обжечься, и протянул другую.

– Возьми, возьми, – пробормотал я, – они мои, я тебе дарю их – можешь продать их и купить себе... ну, там, что-нибудь нужное... Прощай!

Я всунул часы ему в руку – и во всю прыть пустился домой. Постоявши немного в нашей общей спальне за дверью и переведя дух, я приблизился к Давыду, который только что кончил свой туалет и причесывал себе волосы.

– Знаешь что, Давыд? – начал я как можно более спокойным голосом. – Я Настасеевы часы-то отдал.

Давыд глянул на меня и провел щеткой по вискам.

– Да, – прибавил я все тем же деловым тоном, – я их отдал. Тут есть такой мальчик, очень бедный, нищий: так вот ему.

Давыд положил щетку на умывальный столик.

– Он может за деньги, которые выручит, – продолжал я, – приобрести какую-нибудь полезную вещь. Все-таки за них он что-нибудь получит.

Я умолк.

– Ну что ж! дело хорошее! – проговорил наконец Давыд и пошел в классную.

Я последовал за ним.

– А коли тебя спросят – куда ты их дел? – обратился он ко мне.

– Я скажу, что я их обронил, – отвечал я небрежно.

Больше о часах между нами в тот день уже не было речи; а все-таки мне сдавалось, что Давыд не только одобрял меня, но... до некоторой степени... даже удивлялся мне. Право!

У

Прошло еще два дня. Случилось так, что никто у нас в доме часов не хватился. У отца вышла какая-то крупная неприятность с одним из его доверителей: ему было не до меня и не до моих часов. Зато я беспрестанно думал о них! Даже одобрение... предполагаемое одобрение Давыда меня не слишком утешало. Он же ничем особенно его не выказывал: всего только раз сказал – и то вскользь, – что не ждал от меня такой удали. Решительно: пожертвование мое приходилось мне в убыток, оно не уравновешивалось тем удовольствием, которое мое самолюбие мне доставляло.

А тут еще, как нарочно, подвернись другой знакомый нам гимназист, сын городского доктора – и начни хвастаться новыми, и не серебряными, а томпаковыми часами[7], которые подарила ему его бабушка...

Я не вытерпел наконец – и, тихомолком выскользнув из дому, принялся отыскивать того самого нищего мальчика, которому я отдал свои часы.

Я скоро нашел его: он с другими мальчиками играл у церковной паперти в бабки. Я отозвал его в сторону и, задыхаясь и путаясь в речах, сказал ему, что мои родные гnevаются на меня за то, что я отдал часы, и что если он согласится мне их возвратить, то я ему с охотой заплачу за них деньгами... Я, на всякий случай, взял с собою старинный, елизаветинский рубль[8], весь мой наличный капитал.

– Да у меня их нету-ти, часов-то ваших, – отвечал мальчик сердитым и плаксивым голосом, – батька мой увидал их у меня да отнял; еще пороть меня собирался. «Ты их, говорит, должно, украл где-нибудь, – какой дурак тебя часами дарить станет?»

– А кто твой отец?

– Мой отец? Трофимыч.

– Да кто он такой? какое его занятие?

– Он – солдат отставной – сражант[9]. А занятия у него никакого нету. Старые башмаки чинит, подметки строчает. Вот и все его занятие. Тем и живет.

– Где ваша квартира? Сведи меня к нему.

– И то сведу. Вы ему скажите, батьке-то, что вы мне часы подарили. А то он меня все попрекает. Вор да вор! И мать туда же: в кого, мол, ты вором уродился?

Мы с мальчиком отправились на его квартиру. Она помещалась в курной избушке[10], на заднем дворе давным-давно сгоревшей и не отстроенной фабрики. И Трофимыча и жену его мы застали дома. Отставной «сражант» был высокого роста старик, жилистый и прямой, с желто-седыми бакенами, небритым подбородком и целой сетью морщин на щеках и на лбу. Жена его казалась старше его: красные ее глазки уныло моргали и ежились посреди болезненно-припухлого лица. На обоих висели какие-то темные лохмотья вместо одежды.

Я объяснил Трофимычу, в чем было дело и зачем я пришел. Он выслушал меня молча, ни разу не смигнув и не спуская с меня своего тупого и напряженного – прямо солдатского взгляда.

– Баловство! – промолвил он наконец хриплым, беззубым басом. – Разве так благородные господа поступают? А коли если Петька точно часы не украл – так за это ему – рраз! Не балуй с барчуками! А украл бы – так я б его не так! Рраз! рраз!! рраз!! фуктелями, по-калегвардски![11] чего смотреть-то? Что за притча? Ась?! Шпонтами[12] их! Вот так история?! Тьфу!

Это последнее восклицание Трофимыч произнес фальцетом[13]. Он, очевидно, недоумевал.

– Если вы хотите возвратить мне часы, – пояснил я ему... я не смел его «тыкать», даром, что он был простой солдат... – то я вам с удовольствием заплачу... вот этот рубль. Больше они, я полагаю, не стоят.

– Нну! – проворчал Трофимыч, не переставая недоумевать и по старой памяти поедая меня глазами, словно я был начальник какой. – Эко дело – а? Ну-кося, раскуси его!.. Ульяна, молчи! – окрысился он на жену, которая разинула было рот. – Вот часы, – прибавил он, раскрывая ящик стола, – коли они ваши точно – извольте получить; а рубль-то за что? Ась?

– Бери рубль, Трофимыч, беспутный, – завопила жена. – Из ума выжил, старый! Алтына[14] за душой нет, а туда же, важничает! Косу тебе напрасно только отрубили, а то – та же баба! Как так – ничего не знавши... Бери деньги, коли уж часы отдавать вздумал!

– Ульяна, молчи, паскудница! – повторил Трофимыч. – Где это видано – разговаривать? А? Муж – глава; а она – разговаривать? Петька, не шевелись, убью!.. Вот часы!

Трофимыч протянул ко мне часы, но не выпускал их из пальцев.

Он задумался, потупился, потом уставил на меня тот же пристально-тупой взор – да вдруг как гаркнет во всю глотку:

– А где ж он? Рубль-то где?

– Вот он, вот, – поспешно промолвил я и выхватил монету из кармана.

Но он ее не брал и все смотрел на меня. Я положил рубль на стол. Он вдруг смахнул его в ящик, швырнул мне часы и, повернувшись налево кругом и сильно топнув ногою, прошипел на жену и на сына:

– Вон, сволочь!

Ульяна что-то залепетала – но я уже выскочил на двор, на улицу. Засунув часы в самую глубь кармана и крепко стискивая их рукою, я примчался домой.

Часы. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

Я снова вступил во владение часами, но удовольствия оно мне не доставило никакого. Носить я их не решался: нужно было пуще всего скрыть от Давыда то, что я сделал. Что бы он подумал обо мне, о моей бесхарактерности? Даже запереть в ящик эти злополучные часы я не мог: у нас все ящики были общие. Приходилось прятать их то наверху шкапа, то под матрацем, то за печкой... И все-таки мне не удалось обмануть Давыда!

Однажды я, достав из-под половицы нашей комнаты часы, вздумал потереть их серебряную спинку старой замшевой перчаткой. Давыд ушел куда-то в город; я никак не ожидал, что он скоро вернется... вдруг он – шась в дверь!

Я до того смутился, что чуть не выронил часов, и, весь потерянный, с зардевшимся до боли лицом, принялся ерзать ими по жилету, никак не попадая в карман.

Давыд посмотрел на меня и, по своему обыкновению, улыбнулся молча.

– Чего ты? – промолвил он наконец. – Ты думаешь, я не знал, что часы опять у тебя? Я в первый же день, как ты их принес, увидел их.

– Уверю тебя, – начал я чуть не со слезами.

Давыд пожал плечом:

– Часы твои; ты волен с ними делать, что хочешь.

Сказав эти жестокие слова, он вышел.

На меня нашло отчаяние. На этот раз уже не было никакого сомнения: Давыд действительно презирал меня!

Этого нельзя было так оставить!

«Докажу ж я ему», – подумал я, стиснув зубы, и тотчас же, твердым шагом отправившись в переднюю, отыскал нашего казачка[15] Юшку и подарил ему часы!

Юшка стал было отказываться; но я ему объявил, что, если он не возьмет у меня этих часов, я сию же минуту раздавлю, растопчу их ногами, расшибу их вдребезги, брошу в помойную яму! Он подумал, хихикнул и взял часы. А я возвратился в нашу комнату и, увидав Давыда, читавшего книгу, рассказал ему свой поступок.

Давыд не отвел глаз от страницы и опять, пожав плечом и улыбнувшись про себя, промолчал, что часы, мол, твои, и ты в них волен.

Но мне показалось, что он уже немножко меньше презирал меня.

Я был вполне убежден, что никогда более не подвергнусь новому упреку в бесхарактерности, ибо эти часы, этот гадкий подарок моего гадкого крестного, мне вдруг до такой степени опротивели, что я даже никак не в состоянии был понять, как мог я сожалеть о них, как мог выканючивать их у какого-то Трофимыча, который к тому же еще вправе думать, что обошелся со мною великодушно!

Прошло несколько дней... Помнится, в один из них достигла и до нашего города великая весть: император Павел скончался, и сын его, Александр, про благодущие и человеколюбие которого носилась такая хорошая молва, вступил на престол. Весть эта страшно взволновала Давыда: возможность свидания, близкого свидания с отцом тотчас представилась ему. Мой батюшка тоже обрадовался.

– Всех ссыльных теперь возвратят из Сибири и брата Егора, чай, не забудут, – повторял он, потирая руки, кашляя и в то же время словно робея.

Мы с Давыдом тотчас бросили работать и ходить в гимназию; мы даже не гуляли, а всё сидели где-нибудь в уголку да рассчитывали и соображали, через сколько месяцев, сколько недель, сколько дней должен был вернуться «брат Егор», и куда было ему писать, и как пойти ему навстречу, и каким образом мы начнем жить потом? «Брат Егор» был архитектором; мы с Давыдом решили, что ему следовало переселиться в Москву и строить там большие училища для бедных людей, а мы бы пошли ему в помощники. О часах мы, разумеется, забыли совершенно, к тому ж у Давыда завелись новые заботы... о них речь впереди; но часам было еще суждено

напомнить о себе.

## VII

В одно утро, мы только что успели позавтракать – я сидел один под окном и размышлял о возвращении дяди – апрельская оттепель парила и сверкала на дворе, – вдруг в комнату вбежала Пульхерия Петровна. Она во всякое время была очень проворна и егозлива, говорила пискливым голоском и все размахивала руками, а тут она просто так и накинулась на нас.

– Ступай! ступай сейчас к отцу, сударь! – затрещала она. – Что это за шашни ты тут затеял, бесстыдник этакой! Вот будет уже вам обоим! Настасей Настасеич все ваши проказы на чистую воду вывел!.. Ступай! Отец тебя зовет... Сею минутою ступай!

Ничего еще не понимая, последовал я за теткой, – и, перешагнув порог гостиной, увидел отца, ходившего большими шагами взад и вперед и ерошившего хохол, Юшку в слезах у двери, а в углу, на стуле, моего крестного, Настасея Настасеича – с выражением какого-то особенного злорадства в раздутых ноздрях и загоревшихся, перекосившихся глазах.

Отец, как только я вошел, налетел на меня:

– Ты подарил часы Юшке? сказывай!

Я взглянул на Юшку...

– Сказывай же! – повторил отец и затопал ногами.

– Да, – отвечал я и немедленно получил размашистую пощечину, доставившую большое удовольствие моей тетке. Я слышал, как она крякнула, словно глоток горячего чаю отхлебнула. Отец от меня перебежал к Юшке.

– А ты, подлец, не должен был сметь принять часы в подарок, – приговаривал он, таская его за волосы, – а ты их еще продал, бездельник!

Юшка действительно, как я узнал впоследствии, в простоте сердца снес мои часы к соседнему часовщику. Часовщик вывесил их перед окном; Настасей Настасеич, проходя мимо, увидел их, выкупил и принес к нам в дом.

Впрочем, расправа со мной и с Юшкой продолжалась недолго: отец запыхался, закашлялся, да и не в нраве его было сердиться.

– Братец, Порфирий Петрович, – промолвила тетка, как только заметила, не без некоторого, конечно, сожаления, что сердце с отца, как говорится, соскочило, – вы больше не извольте беспокоиться: не стоит ручек ваших марать. А я вот что предлагаю: с согласия почтенного Настасея Настасеича и по причине такой большой неблагодарности вашего сына – я часы эти возьму к себе; а так как он поступком своим доказал, что недостоин носить их и даже цены им не понимает, то я их от вашего имени подарю одному человеку, который очень будет чувствовать вашу ласку.

– Кому это? – спросил отец.

– А Хрисанфу Лукичу, – промолвила тетка с небольшой запинкой.

– Хрисашке? – переспросил отец и, махнув рукой, прибавил: – Мне все едино. Хоть в печку их бросайте.

Он застегнул распахнувшийся камзол[16] и вышел, корчась от кашля.

– А вы, родной, согласны? – обратилась тетка к Настасею Настасеичу.

– С истинной моей готовностью, – отвечал тот.

В продолжение всей «расправы» он не шевелился на своем стуле, а только, тихонько пофыркивая и тихонько потирая кончики пальцев, поочередно направлял свои лисьи глаза на меня, на отца, на Юшку. Истинное мы ему доставляли удовольствие!

Предложение моей тетки возмутило меня до глубины души. Мне не часов было жаль;

Часы. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

но очень уже был мне ненавистен человек, которому она собиралась подарить их. Это Хрисанф Лукич, по фамилии Транквиллитатин, здоровенный, дюжий, долговязый семинарист[17], повадился ходить к нам в дом – черт знает зачем! «Заниматься с детьми», – уверяла тетка; но заниматься с нами он уже потому не мог, что сам ничему не научился и глуп был, как лошадь. Он вообще смахивал на лошадь: стучал ногами, словно копытами, не смеялся, а ржал, причем обнаруживал всю свою пасть, до самой гортани – и лицо имел длинное, нос с горбиной и плоские большие скулы; носил мохнатый фризковый кафтан[18], и пахло от него сырым мясом. Тетка в нем души не чаяла и величала его видным мужчиной, кавалером и даже гренадером[19]. У него была привычка щелкать детей (он и меня щелкал, когда я был моложе) по лбу – твердыми, как камень, ногтями своих длинных пальцев – и, щелкая, гоготать и удивляться: «Как это у тебя, мол, голова звенит! Значит: пустая!» И этот-то олух будет владеть моими часами! Ни за что! – решил я в уме своем, выбежав из гостиной и взобравшись с ногами на кровать, между тем как щека моя разгоралась и рдела от полученной пощечины, а на сердце тоже разгоралась горечь обиды и жажда мести... Ни за что! Не допущу, чтобы проклятый семинар надругался надо мною... Наденет часы, цепочку выпустит по животу, станет ржать от удовольствия... Ни за что!

Все так; но как это сделать? как помешать?..

Я решился украсть часы у тетки!

### VIII

К счастью, Транквиллитатин на ту пору отлучился куда-то из города; он не мог прийти к нам раньше завтрашнего дня; нужно было воспользоваться ночью! Тетка не запиралась у себя в комнате, да и у нас в целом доме ключи не действовали в замках; но куда она положит часы, где спрячет? До вечера она их носила в кармане и даже не раз вынимала и рассматривала их; но ночью – где они ночью будут? Ну, уж это мое дело отыскать, думал я, потрясая кулаками.

Я весь пылал отвагой, и ужасом, и радостью близкого желанного преступления; я постоянно поводил головою сверху вниз, я хмурил брови, я шептал: «Погодите!» Я грозил кому-то, я был зол, я был опасен... и я избегал Давыда! Никто, ни даже он, не должен был иметь малейшее подозрение о том, что я собирался совершить...

Буду действовать один – и один отвечать буду!

Медленно провололся день... потом вечер... наконец настала ночь. Я ничего не делал, даже старался не шевелиться: как гвоздь, засела мне в голову одна мысль. За обедом отец, у которого сердце было, как я сказал, отходчивое, да и совестно ему немножко стало своей горячности – шестнадцатилетних мальчиков уже не бьют по щекам, – отец попытался приласкать меня; но я отклонил его ласку не из злопамятства, как он вообразил тогда, а просто я боялся расчувствоваться: мне нужно было в целости сохранить весь пыл мести, весь закал безвозвратного решения! Я лег очень рано; но, разумеется, не заснул и даже глаз не закрыл, а напротив, тарасил их – хоть и натянул себе на голову одеяло. Я не обдумывал заранее – как поступить; у меня не было никакого плана; я ждал только, когда это, наконец, все затихнет в доме? Я принял одну лишь меру: не снял чулков. Комната моей тетки находилась во втором этаже. Надо было пройти столовую, переднюю, подняться по лестнице, пройти небольшой коридорчик – а там... направо дверь!.. Не для чего было брать с собою огарок или фонарик: в углу теткой комнаты, перед киотом, теплилась неугасимая лампадка: я это знал. Стало быть, видно будет! Я продолжал лежать с вытаращенными глазами, с раскрытым и засохшим ртом; кровь стучала у меня в висках, в ушах, в горле, в спине, во всем теле! Я ждал... но словно бес какой потешался надо мною: время шло... шло, а тишина не водворялась!

### IX

Никогда, казалось мне, Давыд так поздно не засыпал... Давыд, молчаливый Давыд даже заговаривал со мною! Никогда так долго в доме не стучали, не ходили, не беседовали! «И о чем это они толкуют? – думалось мне. – Не наболтались с утра!» Наружные звуки тоже долго не прекращались: то собака лаяла тонким, упорным лаем; то пьяный мужик где-то все бурлил и не унимался; то какие-то ворота все скрипели; то тележка на дряблых колесах ехала, ехала и никак проехать не хотела! Впрочем, эти звуки не раздражали меня: напротив, я был им почему-то рад! Они как будто отвлекали внимание. Но вот, кажется, наконец все угомонилося. Один лишь маятник наших старых часов сипло и важно щелкает в столовой, да слышится

Часы. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
мерное и протяжное, словно трудное дыхание спящих людей. Я собираюсь приподняться... но вот опять что-то прошипело... потом вдруг охнуло... что-то мягкое упало – и шепот разносится, шепот скользит по стенам...

Или ничего этого нет – и только одно воображение меня дразнит?

Заглохло наконец все: стала самая сердцевина и темь и глушь ночи. Пора! Заранее весь похолоделый, я сбрасываю одеяло, опускаю ноги на пол, встаю... Шаг; другой... Я крадусь. Плюсны ног, словно чужие, тяжелые, переступают слабо и неверно. Стой! что это за звук? Пилит кто где, или скребет... или вздыхает? Я прислушиваюсь... по щекам перебегают мурашки, на глаза выступают водянистые, холодные слезы... Ничего!.. Я крадусь опять. Темно; но я знаю дорогу. Вдруг я натываюсь на стул... Какой стук, и как больно! Удар пришелся прямо по голени... Замираю на месте... Ну, проснулся? А! была не была! Вдруг является смелость и даже злость. Вперед! вперед! Вот уже и столовая пройдена; вот уже и дверь ощупана, раскрыта разом, с размаху... Визгнула-таки петля проклятая... ну ее! Вот уже я по лестнице поднимаюсь!.. Раз! два! раз, два! Хрустнула под ногой ступенька; я взглядываю на нее злобно – словно я видеть ее могу. Вот уже другую дверь я потянул за ручку... Эта хоть бы чукнула! Так легонько и распахнулась: милости просим, мол... Вот уже я в коридоре!

В коридоре наверху, под потолком, небольшое окошечко. Слабый ночной свет чуть сеется сквозь темные стекла. И видится мне: при том брезжущем свете, на полу, на войлоке, лежит, закинув обе руки за растрепанную голову, наша девочка-побегушка; крепко спит она, дышит проворно, а за самой ее головою роковая дверь. Я шагаю через войлок, через девочку... Кто мне отворил ту дверь... не знаю; но вот уже я в теткиной комнате; вот и лампадка в одном углу, и кровать в другом, и тетка в чепце и кофте на кровати лицом ко мне. Спит, не шевелится; даже дыхания не слышать. Пламя лампадки тихонько колеблется, возмущенное притоком свежего воздуха; и по всей комнате и по неподвижному, как воск, желтому лицу тетки – заколебались тени...

А вот и часы! За кроватью, на стене висят они на вышитой подушечке. Экое счастье! подумашь... Нечего мешкать! Но чьи это шаги, мягкие и быстрые, за моей спиной? Ах, нет! это сердце стучит!.. Я заносу ногу вперед... Боже! что-то круглое, довольно большое, толкает меня ниже колена... раз! и еще раз! Я готов вскрикнуть, я готов упасть от ужаса... Полосатый кот, наш домашний кот стоит передо мною, сгорбив спину, задрав хвост. Вот он вскакивает на кровать – тяжело и мягко, – оборачивается и сидит не мурлыча, словно судья какой; сидит и глядит на меня своими золотыми зрачками. «Кись! кись!» – шепчу я чуть слышно. Я перегибаюсь через тетку, я уже схватил часы... Она вдруг приподнимается, широко раскрывает веки... Создатель! что будет!.. Но веки ее вздрагивают и закрываются, и с слабым лепетом падает голова на подушку.

Минута – и я уже опять в своей комнате, на своей постели, – и часы у меня в руках.

Легче пуха примчался я назад! Я молодец, я вор, я герой, я задыхаюсь от радости, мне жарко, мне весело – я хочу тотчас разбудить Давыда, все рассказать ему – и, невероятное дело! засыпаю как убитый! Я открываю наконец глаза... В комнате светло; солнце уже встало. К счастью, еще никто не проснулся. Я вскакиваю, как ошпаренный, бужу Давыда, сообщаю ему все. Он выслушивает, ухмыляется. «Знаешь ли что? – говорит он мне наконец. – Зароем мы эти дурацкие часы в землю, чтобы и духу их больше не было!» Я нахожу его мысль бесподобной. В несколько мгновений мы оба одеты, бежим в фруктовый сад, расположенный позади нашего дома, – и под старой яблонью, в глубокой яме, торопливо вырытой в рыхлой весенней земле большим Давыдовым ножом, скрывается навсегда ненавистный подарок крестного отца, так-таки не доставшийся в руки противному Транквиллитатину! Мы утаптываем яму, набрасываем на нее щебню и, гордые, счастливые, никем не замеченные, возвращаемся домой, ложимся в наши постели и спим еще часок-другой – и каким легким и блаженным сном!

Х

Можете себе представить, какой гвалт поднялся на следующее утро, как только тетка проснулась и хватилась часов! До сих пор звенит у меня в ушах ее пронзительный крик. «Караул! Ограбили! ограбили!» – пищала она и взбудоражила весь дом. Она бесновалась, а мы с Давыдом только улыбались про себя, и сладка была нам наша улыбка. «Всех, всех пересечь надо! – кричала тетка. – Из-под



головой, из-под подушки вытащили часы!» Мы на все были готовы, мы ждали беды... но, против ожидания, беды не стряслось над нами никакой. На первых порах отец, точно, развоевался страшно – он даже о полиции упомянул; но, зная, ему уже вчерашняя расправа прискучила, и он внезапно, к неопisanному изумлению тетки, накинулся не на нас, а на нее! «Надоели вы мне пуще горькой редьки, Пульхерия Петровна, – закричал он, – с вашими часами! Слышать об них я больше не хочу! Не колдовством же они пропали, говорите вы; а мне что за дело? Хоть бы колдовством! Украли их у вас? Ну, туда им и дорога! Настасей Настасеич что скажет? А черт с ним совсем, с вашим Настасеичем! Я от него, кроме пакостей да неудовольствий, ничего не вижу. Не смей меня больше беспокоить! Слышите!» Отец хлопнул дверью и ушел к себе в кабинет. Мы сперва с Давыдом не поняли намека, заключавшегося в его последних словах; но потом мы узнали, что отец в это самое время сильно негодовал на моего крестного, перебившего у него выгодное дело. Так и осталась тетка с носом. Она чуть не лопнула с досады, но делать было нечего. Она должна была ограничиться тем, что, проходя мимо меня и скривив рот в мою сторону, резким шепотом твердила: «Вор, вор, каторжник, мошенник!» Укоризны тетки доставляли мне истинное наслаждение. Очень было также приятно, проходя палисадником, скользить притворно-равнодушным глазом к самому тому месту под яблоней, где покоились часы; и, если Давыд находился тут же, вблизи, – обменяться с ним значительной ужимкой.

Тетка вздумала было натравить на меня Транквиллитатина; но я прибегнул к помощи Давыда. Тот прямо объявил дюжему семинаристу, что распорет ему ножом брюхо, если он не оставит меня в покое... Транквиллитатин испугался; он хоть и гренадер был и кавалер, по выражению тетки, однако храбростью не отличался. Так прошло недель пять... Но не думаете ли вы, что история с часами так и кончилась? Нет, она не кончилась; только для того, чтобы продолжать мой рассказ, мне нужно ввести новое лицо; а чтобы ввести это новое лицо, я должен вернуться несколько назад.

## XI

Мой отец был долгое время очень дружен, даже короток, с одним отставным чиновником, Латкиным, хроменьким, убоженьким человечком с робкими и странными ухватками, одним из тех существ, про которых сложилась поговорка, что они самим богом убиты. Подобно отцу моему и Настасею, он занимался хождением по делам и был тоже частным «стряпчим» и поверенным; но, не обладая ни представительной наружностью, ни даром слова и слишком мало на себя надеясь, он не решался действовать самостоятельно и примкнул к моему отцу. Почерк у него был «настоящий бисер», законы он знал, твердо и до тонкости постиг все завитушки просьбенного и приказного слога[20]. Вместе с отцом он орудовал различные дела, делил барыши и убытки, и, казалось, ничто не могло поколебать их дружбу; и со всем тем она рухнула в один день – и навсегда. Отец навсегда рассорился с своим сотрудником. Если бы Латкин отбил у отца выгодное дело, на манер заменившего его впоследствии Настасея, – отец вознегодовал бы на него не более, чем на Настасея, вероятно, даже меньше; но Латкин, под влиянием необъяснимого, непонятого чувства – зависти, жадности – а быть может, и под мгновенным наитием честности – «подвел» моего отца, выдал его общему их доверителю, богатому молодому купцу, открыв глаза этому беспечному юноше на некоторый... некоторый кунштюк[21], долженствовавший принести значительную пользу моему отцу. Не денежная утрата, как она велика ни была, – нет! а измена оскорбила и взорвала отца. Он не мог простить коварства!

– Вишь, святой выискался! – твердил он, весь дрожа от гнева и стуча зубами, как в лихорадке. Я находился тут же, в комнате, и был свидетелем этой безобразной сцены. – Добро! С нынешнего дня – аминь! Кончено между нами. Вот бог, а вот порог. Ни я у тебя, ни ты у меня! Вы для нас уж больно честны – где нам с вами общество водить! Но не быть же тебе ни дна, ни покрывки!

Напрасно Латкин умолял отца, кланялся ему земно; напрасно пытался объяснить то, что наполняло его собственную душу болезненным недоумением. «Ведь безо всякой пользы для себя, Порфирий Петрович, – лепетал он, – ведь самого себя зарезал!» Отец остался непреклонен... Ноги Латкина уже больше не было в нашем доме. Сама судьба, казалось, вознамерилась оправдать последнее жестокое пожелание моего отца. Вскоре после разрыва (произошел он года за два до начала моего рассказа) жена Латкина, правда уже давно больная, умерла; вторая его дочка, трехлетний ребенок, от страха онемела и оглохла в один день: пчелиный рой облепил ей голову; сам Латкин подвергся апоплексическому удару – и впал в крайнюю, окончательную бедность. Как он перебивался, чем существовал – трудно было даже представить. Жил он в полуразрушенной хибарочке, в недалеком расстоянии от

нашего дома. Старшая его дочь, Раиса, тоже жила с ним и хозяйничала по возможности. Эта Раиса была именно то новое лицо, которое я должен ввести в рассказ.

### XII

Пока отец ее был дружен с моим, мы беспрестанно ее видали; она иногда по целым дням сживала у нас и либо шила, либо пряла своими тонкими, проворными и ловкими руками. Это была стройная, немного сухоощавая девушка, с умными карими глазами на бледном, длинноватом лице. Она говорила мало, но толково, тихим и звонким голосом, почти не раскрывая рта и не выказывая зубов; когда она смеялась – что случалось редко и никогда долго не продолжалось, – они вдруг выставлялись все, большие, белые, как миндалины. Помню я также ее походку, легкую, упругую, с маленьким подпрыгом на каждом шагу; мне всегда казалось, что она сходит по ступеням лестницы, даже когда она шла по ровному месту. Она держалась прямо, с поджатыми на груди руками. И что бы она ни делала, за что бы она ни принималась – ну хоть бы нитку в ушко иголки вдевать или юбку утюгом разглаживать, – все выходило у нее красиво и как-то... вы не поверите... как-то трогательно. Христианское ее имя было Раиса, но мы ее звали Черногубкой: у ней на верхней губе было родимое темно-синее пятнышко, точно она поела куманики[22]; но это ее не портило: напротив. Она была ровно годом старше Давыда. Я питал к ней чувство вроде уважения, но она зналась со мною мало. Зато между Давыдом и ею завелась дружба – не детская, странная, но хорошая дружба. Они как-то шли друг к другу. Они иногда по целым часам не менялись словом, но каждому чувствовалось, что им обоим хорошо – и потому именно хорошо, что они вместе. Я другой такой девушки не встречал, право. В ней было что-то внимательное и решительное, что-то честное, и печальное, и милое. Я не слыхивал от нее умного слова, зато я и пошлости от нее не слыхал, а умнее глаз я не видывал. Когда произошел разрыв между ее семейством и моим, я стал редко ее видеть: отец мой строжайше запретил мне навещать Латкиных – и она уже не показывалась у нас в доме. Но я встречался с нею на улице, в церкви, и Черногубка внушала мне всё те же чувства: уважение и даже некоторое удивление – скорей, чем жалость. Очень уж она хорошо переносила свое несчастье. «Кремень-девка», – сказал про нее однажды сам топорный Транквиллитатин. А по-настоящему, следовало пожалеть о ней: лицо ее приняло выражение озабоченное, утомленное, глаза осунулись и углубились: непосильная тягота легла ей на молоденькие плечи. Давыд видел ее гораздо чаще, чем я; он и в дом к ним ходил. Отец махнул на него рукою: он знал, что Давыд все-таки его не послушается. И Раиса от времени до времени появлялась у плетня нашего сада, выходявшего на проулок, и видалась там с Давыдом: не беседе она вела с ним, а сообщала ему какое-нибудь новое затруднение или новую беду – спрашивала совета. Паралич, поразивший Латкина, был свойства довольно странного. Руки, ноги его ослабели, но он не лишился их употребления, даже мозг его действовал правильно; зато язык его путался и вместо одних слов произносил другие: надо было догадываться, что именно он хочет сказать.

...«Чу-чу-чу, – лепетал он с усилием – он всякую фразу начинал с чу-чу-чу, – ножницы мне, ножницы...» А ножницы означали хлеб. Отца моего он ненавидел всеми оставшимися у него силами – он его заклятью приписывал все свои бедствия и звал его то мясником, то брильянтщиком. «Чу, чу, к мяснику не смей ходить, Васильевна!» Он этим именем окрестил свою дочь, а звали его Мартиньяном. С каждым днем становился он более требовательным; нужды его росли... А как удовлетворять эти нужды? Откуда взять денег? Горе скоро старит; но жутко было слышать иные слова в устах семнадцатилетней девушки.

### XIII

Помнится, мне пришлось присутствовать при ее беседе у забора с Давыдом, в самый день кончины ее матери.

– Сегодня на зорьке матушка скончалась, – говорила она, поведив сперва кругом своими темными, выразительными глазами, а там вперив их в землю, – кухарка взялась гроб подешевле купить; да она у нас ненадежная: пожалуй, еще деньги пропьет. Ты бы пришел, посмотрел, Давыдушко: тебя она побоится.

– Приду, – отвечал Давыд, – посмотрю... А что отец?

– Плачет; говорит: похороните заодно уж и меня. Теперь заснул. – Раиса вдруг глубоко вздохнула. – Ах, Давыдушко, Давыдушко! – Она провела полусжатым кулачком себе по лбу и по бровям, и было это движение и горько так... и так искренне, и так красиво, как все ее движения.

– Ты, однако, себя пожалей, – заметил Давыд. – Не спала, чай, вовсе... Да и что плакать? Горю не пособить.

– Мне плакать некогда, – отвечала Раиса.

– Это богатые баловаться могут, плакать-то, – заметил Давыд.

Раиса пошла было, да вернулась.

– Желтую шаль у нас торгуют, знаешь, из маменькиного приданого. Двенадцать рублей дают. Я думаю, мало.

– И то, мало.

– Мы б ее не продали, – промолвила Раиса, помолчав немного, – да ведь на похороны нужно.

– И то, нужно. Только зря денег давать не следует. Попы эти – беда! Да вот, стой, я приду. Ты уходишь? Я скоро буду. Прощай, голубка!

– Прощай, братец, голубчик!

– Смотри же, не плачь!

– Какое плакать? Либо обед варить, либо плакать. Одно из двух.

– Как: обед варить? – обратился я к Давыду, как только Раиса удалилась. – Разве она сама кушанье готовит?

– Да ведь ты слышал: кухарка гроб пошла торговать.

«Готовит обед, – подумал я, – а руки у ней всегда такие чистые и одежда опрятная... Я бы посмотрел, как она там, в кухне... Необыкновенная девушка!»

Помню я другой разговор «у забора». На этот раз Раиса привела с собою свою глухонемую сестричку. Это был хорошенький ребенок с огромными, удивленными глазами и целой громадой черных тусклых волос на маленькой головке (у Раисы волосы были тоже черные – и тоже без блеска). Латкин был уже поражен параличом.

– Уж я не знаю, как быть, – начала Раиса. – Доктор рецепт прописал, надо в аптеку сходить; а тут наш мужичок (у Латкина оставалась одна крепостная душа) дровец из деревни привез да гуся. А дворник отнимает: вы мне, говорит, задолжали.

– Гуся отнимает? – спросил Давыд.

– Нет, не гуся. Он, говорит, старый; уж больше не годится. Оттого, говорит, и мужичок вам его привез. А дрова отнимает.

– Да он права не имеет! – воскликнул Давыд.

– Права не имеет, а отнимает... Я пошла на чердак; там у нас сундук стоит, старый-престарый. Стала я в нем рыться... И что же я нашла: посмотри!

Она достала из-под косынки довольно большую зрительную трубку, в медной оправе, оклеенную пожелтевшим сафьяном[23]. Давыд, как любитель и знаток всякого рода инструментов, тотчас ухватился за нее.

– Английская, – промолвил он, приставляя ее то к одному глазу, то к другому. – Морская!

– И стекла целы, – продолжала Раиса. – Я показала батюшке; он говорит: снеси, заложи брильянщику! Ведь что ты думаешь? За нее дадут деньги? А нам на что зрительная трубка? Разве на себя в зеркало посмотреть, каковы мы есть красавцы. Да зеркала, жаль, нет.

И, сказавши эти слова, Раиса вдруг громко засмеялась.

Сестричка ее, конечно, не могла ее услышать, но, вероятно, почувствовала сотрясение ее тела: она держала Раису за руку – и, поднявши на нее свои большие глаза, испуганно перекосила личико и залилась слезами.

– Вот так-то она всегда, – заметила Раиса, – не любит, когда смеются.

– Ну, не буду, Любочка, не буду, – прибавила она, проворно присев на корточки возле ребенка и проводя пальцами по ее волосам. – Видишь?

Смех исчез с лица Раисы, и губы ее, концы которых как-то особенно мило закручивались кверху, стали опять неподвижны. Ребенок умолк. Раиса приподнялась.

– Так ты, Давыдушко, порадей... с трубкой-то. А то дров жаль – да и гуся, какой он ни на есть старый!

– Десять рублей непременно дадут, – промолвил Давыд, переворачивая трубку во все стороны. – Я ее у тебя куплю... чего лучше? А вот пока на аптеку – пятиалтынный... Довольно?

– Это я у тебя занимаю, – шепнула Раиса, принимая от него пятиалтынный.

– Еще бы! С процентами – хочешь? Да вот и залог у меня есть. Важнейшая вещь!.. Первый народ – англичане.

– А говорят, мы с ними воевать будем?

– Нет, – отвечал Давыд, – мы теперь французов бьем[24].

– Ну – тебе лучше знать. Так порадей. Прощайте, господа!

#### XIV

А то вот еще какой разговор происходил все у того же забора. Раиса казалась озабоченной больше обыкновенного.

– Пять копеек кочан капусты, да и кочан-то «махенький-премахенький»... – говорила она, подперши рукою подбородок. – Вон как дорого! А за шитье деньги еще не получены.

– Тебе кто должен? – спросил Давыд.

– Да все та же купчиха, что за валом живет.

– Эта, что в шушуне[25] зеленом ходит, толстая такая?

– Она, она.

– Вишь, толстая! От жира не продышится, в церкви так даже паром от нее шибает, а долги не платит!

– Она заплатит... только когда? А то вот еще, Давыдушко, новые у меня хлопоты. Вздумал отец мне сны свои рассказывать. Ты ведь знаешь, косноязычен он стал: хочет одно слово промолвить, а выходит другое. Насчет пищи или чего там житейского – мы уже привыкли, понимаем; а сон и у здоровых-то людей непонятен бывает, а у него – беда! «Я, говорит, очень радуюсь; сегодня все по белым птицам прохаживался; а господь бог мне пукёт подарил, а в пукёте Андрюша с ножичком. – Он нашу Любочку Андрюшей зовет. – Теперь мы, говорит, будем здоровы оба! Только надо ножичком – чирк! Эво так!» – и на горло показывает. Я его не понимаю; говорю: «Хорошо, родной, хорошо»; а он сердится, хочет мне растолковать, в чем дело. Даже в слезы ударился.

– Да ты бы ему что-нибудь такое сказала, – вмешался я, – солгала бы что-нибудь.

– Не умею я лгать-то, – отвечала Раиса и даже руками развела.

И точно: она лгать не умела.

– Лгать не надо, – заметил Давыд, – да и убивать себя тоже не след. Ведь спасибо

никто тебе не скажет?

Раиса поглядела на него пристально.

– Что я хотела спросить у тебя, Давыдушко; как надо писать: «штоп»?

– Что такое: «штоп»?

– Да вот, например: я хочу, штоп ты жив был.

– Пиши: ша, твердо, он, буки, ер!

– Нет, – вмешался я, – не ша, а червь! [26]

– Ну, все равно; пиши: червь! А главное – сама-то ты живи!

– Мне бы хотелось писать правильно, – заметила Раиса и слегка покраснела.

Она, когда краснела, тотчас удивительно хорошела.

– Пригодиться оно может... Батюшка в свое время как писал... На удивление! Он и меня выучил. Ну, теперь он даже буквы плохо разбирает.

– Ты только у меня живи, – повторил Давыд, понизив голос и не спуская с нее глаз. Раиса быстро глянула на него и пуще покраснела. – Живи ты... а писать... пиши, как знаешь... О, черт, ведьма идет! (Ведьмой Давыд звал мою тетку.) И что ее сюда носит? Уходи, душа!

Раиса еще раз глянула на Давыда и убежала.

Давыд весьма редко и неохотно говорил со мною о Раисе, об ее семье, особенно с тех пор, как начал поджидать возвращения своего отца. Он только и думал, что о нем – и как мы потом жить будем. Он живо его помнил и с особенным удовольствием описывал мне его.

– Большой, сильный, одной рукой десять пудов поднимает... Как крикнет: гей, малый! – так по всему дому слышно. Славный такой, добрый... и молодец! Ни перед кем, бывало, не струсит. Отличное было наше житье, пока нас не разорили! Говорят, он теперь совсем седой стал, а прежде такой же был рыжий, как я. Си-и-лач!

Давыд никак не хотел допустить, что мы останемся в Рязани.

– Вы-то уедете, – заметил я, – да я-то останусь.

– Пустяки! Мы тебя с собой возьмем.

– А с отцом-то как быть?

– Отца ты своего бросишь. А не бросишь – пропадешь.

– Что так?

Давыд не отвечал мне и только нахмурил свои белые брови.

– Вот как мы уедем с батькой, – начал он снова, – найдет он себе хорошее место, я женюсь...

– Ну, это еще не скоро, – заметил я.

– Нет, отчего же? Я женюсь скоро.

– Ты?

– Да, я; а что?

– Уж нет ли у тебя невесты на примете?

– Конечно, есть.

– Кто же она такая?

Давыд усмехнулся.

– Какой ты, однако, бестолковый! Конечно, Раиса.

– Раиса! – повторил я с изумлением. – Ты шутишь!

– Я, брат, шутить и не умею и не люблю.

– Да ведь она годом тебя старше?

– Что ж такое? А впрочем, бросим этот разговор.

– Позволь мне одно спросить, – промолвил я. – Знает она, что ты собираешься на ней жениться?

– Вероятно.

– Но ты ей ничего не открывал?

– Что тут открывать? Придет время, скажу... Ну, баста!

Давыд встал и вышел из комнаты. Оставшись наедине, я подумал... подумал... и решил наконец, что Давыд поступает, как благоразумный и практический человек; и мне даже лестно стало, что я друг такого практического человека!

А Раиса, в своем вековечном черном шерстяном платье, мне вдруг показалась прелестной и достойной самой преданной любви!

#### XV

Давыдов отец все не ехал и даже писем не присылал. Лето давно стало; июнь месяц шел к концу. Мы истомились в ожидании.

Между тем начали ходить слухи, что Латкину вдруг гораздо похужело, и семья его – того и жди – с голоду помрет, а не то дом завалится и крышей всех задавит. Давыд даже в лице изменился и такой стал злой и угрюмый, что хоть не приступайся к нему. Отлучаться он тоже стал чаще. С Раисой я не встречался вовсе. Изредка мелькала она вдали, быстро переходя через улицу своей красивой, легкой походкой, прямая, как стрела, с поджатыми руками, с темным и умным взором под длинными бровями, с озабоченным выражением на бледном и милом лице – вот и все. Тетка, с помощью своего Транквиллитатина, жучила меня по-прежнему и по-прежнему укоризненно шептала мне в самое ухо: «вор, сударь, вор!» Но я не обращал на нее внимания; а отец захлопотался, корпел, разъезжал, писал и знать ничего не хотел.

Однажды, проходя мимо знакомой яблони, я, больше по привычке, бросил косвенный взгляд на известное местечко, и вдруг мне показалось, как будто на поверхности земли, прикрывавшей наш клад, произошла некоторая перемена..... Как будто горбинка появилась там, где прежде было углубление, и куски щебня лежали уже не так! «Что это значит? – подумалось мне. – Неужто кто-нибудь проник нашу тайну и вырыл часы?»

Надо было удостовериться в этом собственными глазами. К часам, ржавеющим в утробе земли, я, конечно, чувствовал полнейшее равнодушие; но не позволить же другому воспользоваться ими! А потому на следующий же день я, снова поднявшись до зари и вооружившись ножом, отправился в сад, отыскал намеченное место под яблоней, принялся рыть и, вырвав чуть не аршинную яму, должен был убедиться, что часы пропали, что кто-то их достал, вытащил, украл!

– Но кто же мог их... вытащить, кроме Давыда?

Кто другой знал, где они находились?

Я засыпал яму и вернулся домой. Я чувствовал себя глубоко обиженным.

«Положим, – думал я, – часы понадобились Давыду для того, чтобы спасти от

Часы. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

голодной смерти свою будущую жену или ее отца... Что там ни говори, часы эти чего-нибудь да стоят... Да как было не прийти ко мне и не сказать: „Брат! (я на месте Давыда непременно сказал бы: брат) брат! Я нуждаюсь в деньгах; у тебя их нет, я знаю, но позволь воспользоваться теми часами, которые мы вместе с тобою зарыли под старой яблонью! Они никому не приносят пользы, а я тебе так буду благодарен, брат!“ С какой бы радостью я согласился! Но действовать тайно, изменнически, не довериться другу... Нет! Никакая страсть, никакая нужда этого не извиняет!»

Я, повторяю, я был сильно оскорблен. Я начал было выказывать холодность, дуться...

Но Давыд был не из тех, которые это замечают и тревожатся!

Я начал делать намеки...

Но Давыд, казалось, нисколько не понимал моих намеков.

Я говорил при нем, как низок в моих глазах тот человек, который, имея друга и даже понимая все значение этого священного чувства дружбы, не обладает, однако, достаточно великодушием, чтобы не прибегать к хитрости; как будто можно что-нибудь скрыть!

Произнося эти последние слова, я смеялся презрительно.

Но Давыд и ухом не вел!

Я наконец прямо спросил его: как он полагает, часы наши шли еще некоторое время, будучи похоронены в землю, или тотчас же остановились?

Он отвечал мне:

– А черт их знает! Вот нашел о чем размышлять?!

Я не знал, что думать. У Давыда, очевидно, было что-то на сердце... но только не похищение часов. Неожиданный случай доказал мне его невинность.

XVI

Я возвращался однажды домой по одному проулочку, по которому я вообще избегал ходить, так как в нем находился флигель, где квартировал мой враг Транквиллитатин; но на этот раз сама судьба привела меня туда. Проходя под закрытым окном одного трактирного заведения, я вдруг услышал голос нашего слуги Василия, молодого развязного малого, великого «лентяя и шалопая», как выражался мой отец, – но великого также покорителя женских душ, на которых он действовал острословием, пляской и игрою на тóрбане[27].

– И ведь, поди ж ты, что выдумали! – говорил Василий, которого я видеть не мог, но слышал весьма явственно; он, вероятно, сидел тут же, возле окна, с товарищем, за парой чая – и, как это часто случается с людьми в запертом покое, говорил громко, не подозревая, что каждый прохожий на улице слышит каждое слово. – Что выдумали? Зарыли их в землю!

– Врешь! – проворчал другой голос.

– Я тебе говорю. Такие у нас барчуки необнаковенные! Особенно Давыдка этот... как есть иезоп[28]. На самой на зорьке встал я, да и подхожу этак к окну... Гляжу: что за притча? Идут наши два голубчика по саду, несут эти самые часы, под яблонькой яму вырыли – да туда их, словно младенца какого! И землю потом заровняли, ей-богу, такие беспутные!

– Ах, шут их возьми! – промолвил Васильев собеседник. – С жиру, значит. Ну, и что ж? Ты часы отрыл?

– Понятное дело, отрыл. Они и теперь у меня. Только показывать их пока не приходится. Больно много из-за них шума было. Давыдка-то их у старухи у нашей в ту самую ночь из-под хребта вытащил.

– О-о?

– Я тебе говорю. Беспардонный[29] совсем. Так и нельзя их показывать. Да вот, офицеры понаедут: продам кому, а не то в карты разыграю.

Я не стал больше слушать, стремглав бросился домой и прямо к Давыду.

– Брат! – начал я. – Брат! прости меня! Я был виноват перед тобой! Я подозревал тебя! Я обвинял тебя! Ты видишь, как я взволнован! Прости меня!

– Что с тобой? – спросил Давыд. – Объяснись!

– Я подозревал тебя, что ты наши часы из-под яблони вырыл!

– Опять эти часы! Да разве их там нет?

– Нет их там; я думал, что ты их взял, чтобы помочь твоим знакомым. И это все Василий!

Я передал Давыду все, что услышал под окном заведения.

Но как описать мое изумление! Я, конечно, полагал, что Давыд вознегодует; но я уж никак не мог ожидать того, что произошло с ним. Едва я кончил мой рассказ, он пришел в ярость несказанную. Давыд, который не иначе как с презрением относился ко всей этой, по его словам, «пошлой» проделке с часами, тот самый Давыд, который не раз уверял, что они выеденного яйца не стоят, – тут вдруг вскочил с места, весь вспыхнул, стиснул зубы, сжал кулаки. «Этого так оставить нельзя! – промолвил он наконец. – Как он смеет себе чужую вещь присвоивать? Я ему покажу, постой! Я вора потачки не даю!!» Признаюсь, я до сих пор не понимаю, что могло так взбесить Давыда: был ли он уже без того раздражен и поступок Василия подлил только масла в огонь; оскорбили ли его мои подозрения, – не могу сказать; но я никогда не видывал его в таком волнении. Разинув рот, стоял я перед ним и только дивился, как это он так тяжело и сильно дышал.

– Что же ты намерен сделать? – спросил я наконец.

– А вот увидишь – после обеда, когда отец уляжется. Я этого пересмешника найду! Я с ним потолкую!

«Ну, – подумал я, – не хотел бы я быть на месте этого „пересмешника“. Что из этого выйдет, господи, боже мой!»

## XVII

А вышло вот что.

Как только после обеда водворилась та сонная душная тишина, которая до сих пор, как жаркий пуховик, ложится на русский дом и русский люд в середине дня, после вкушенных яств[30], Давыд (я с замиравшим сердцем шел за его пятами) – Давыд отправился в людскую[31] и вызвал оттуда Василия. Тот сперва не хотел идти, однако кончил тем, что повиновался и последовал за нами в садик.

Давыд стал перед самой его грудью. Василий был целой головой выше его.

– Василий Терентьев! – начал твердым голосом мой товарищ. – Ты из-под самой этой яблони, недель шесть тому назад, вытащил спрятанные нами часы. Ты не имел права это сделать, они тебе не принадлежали. Отдай их сейчас!

Василий смутился было, но тотчас оправился. «Какие часы? Что вы говорите? Бог с вами! Никаких нет у меня часов!»

– Я знаю, что я говорю, а ты не лги. Часы у тебя. Отдай их!

– Нет у меня ваших часов.

– А как же ты в трактире... – начал было я, но Давыд меня остановил.

– Василий Терентьев! – произнес он глухо и грозно. – Нам доподлинно известно, что часы у тебя. Говорят тебе честью: отдай их. А если ты не отдашь...



Василий нагло ухмыльнулся:

– И что же вы тогда со мною сделаете? Ну-с?

– Что? Мы оба до тех пор с тобой драться будем, пока либо ты нас победишь, либо мы тебя.

Василий засмеялся:

– Драться? Это не барское дело! С холопом-то драться?

Давыд вдруг вцепился Василию в жилет.

– Да мы не на кулаки с тобой драться будем, – произнес он со скрежетом зубов: – пойми ты! А я тебе дам нож и сам возьму... Ну, и посмотрим, кто кого. Алексей! – скомандовал он мне, – беги за моим большим ножом, знаешь, черенок у него костяной – он там на столе лежит, а другой у меня в кармане.

Василий вдруг так и обмер. Давыд все держал его за жилет.

– Помилуйте... помилуйте, Давыд Егорыч, – залепетал он; даже слезы выступили у него на глаза, – что вы это? Что вы? Пустите!

– Не выпущу я тебя. И пощады тебе не будет! Сегодня ты от нас отвертись, мы завтра опять начнем... Алешка! где же нож?

– Давыд Егорыч! – заревел Василий, – не делайте убийства. Что же это такое? А часы... Я точно... Я пошутил. Я их вам сию минуту представлю. Как же это? То Хрисанфу Лукичу брюхо пороть, то мне! Пустите меня, Давыд Егорыч... Извольте получить часы. Папеньке только не сказывайте.

Давыд выпустил из рук Васильев жилет. Я посмотрел ему в лицо: точно – и не Василию можно было испугаться. Такое унылое... и холодное... и злое.

Василий вскочил в дом и немедленно вернулся оттуда с часами в руке. Молча отдал он их Давыду и, только возвращаясь обратно в дом, громко воскликнул на пороге: «Тьфу ты, оказия!»

На нем все еще лица не было. Давыд качнул головой и пошел в нашу комнату. Я опять поплелся за ним. «Суворов! Как есть Суворов!» – думал я про себя. Тогда, в 1801 году, Суворов был наш первый, народный герой.

#### XVIII

Давыд запер за собою дверь, положил часы на стол, скрестил руки и – о чудо! – засмеялся. Глядя на него, я засмеялся тоже.

– Эдакая штука удивительная! – начал он. – Никак мы от этих часов отбиться не можем. Заколдованные они, право. И с чего я вдруг так озлился?

– Да, с чего? – повторил я. – Оставил бы ты их у Василья...

– Ну, нет, – перебил Давыд. – Это шалишь! Но что мы с ними теперь сделаем?

– Да! что?

Мы оба устали на часы – и задумались. Украшенные голубым бисерным шнурком (злополучный Василий впопыхах не успел снять шнурок этот, который ему принадлежал) – они преспокойно делали свое дело: чикали – правда, несколько вперевивку – и медленно передвигали свою медную минутную стрелку.

– Разве опять их зарыть? Или уж в печку их? – предложил я наконец. – Или вот еще: не поднести ли их Латкину?

– Нет, – ответил Давыд. – Это все не то. А вот что: при губернаторской канцелярии завели комиссию, пожертвования собирают в пользу касимовских погорельцев. Город Касимов, говорят, дотла сгорел, со всеми церквями. И, говорят, там всё принимают: не один только хлеб или деньги – но всякие вещи натурой. Отдадим-ка мы туда эти часы! А?

– Отдадим! отдадим! – подхватил я. – Прекрасная мысль! Но, я полагал, так как семейство твоих друзей нуждается...

– Нет, нет; в комиссию! Латкины и без них обойдутся. В комиссию!

– Ну, в комиссию, так в комиссию. Только, я полагаю, надо при этом написать что-нибудь губернатору.

Давыд взглянул на меня.

– Ты полагаешь?

– Да; конечно, много нечего писать. А так – несколько слов.

– Например?

– Например... начать так: «будучи»... или вот еще: «движимые»...

– «Движимые»... хорошо.

– Потом надо будет сказать: «сия малая наша лепта... [32]»

– Лепта... хорошо тоже; ну, бери перо, садись, пиши, валяй!

– Сперва черновую, – заметил я.

– Ну, черновую; только пиши, пиши... А я их пока мелом почищу.

Я взял лист бумаги, очинил перо [33]; но не успел я вывести наверху листа: «его превосходительству, господину сиятельному князю» (у нас тогда губернатором был князь X), как я остановился, пораженный необычным шумом, внезапно поднявшимся у нас в доме. Давыд тоже заметил этот шум – и тоже остановился, подняв часы в левой, тряпочку с мелом в правой руке. Мы переглянулись... Что за резкий крик? Это тетка взвизгнула... а это? Это голос отца, хриплый от гнева. «Часы! часы!» – орет кто-то, чуть ли не Транквиллитатин. Ноги стучат, скрипят половицы, целая орава бежит... несется прямо к нам. Я замираю от страха; да и Давыд бел, как глина, а смотрит орлом. «Василий, подлец, выдал», – шепчет он сквозь зубы... Дверь отворяется настежь... и отец, в халате, без галстука, тетка в пудраманте [34], Транквиллитатин, Василий, Юшка, другой мальчик, повар Агапит – все врываются в комнату.

– Мерзавцы! – кричит отец, едва переводя дыхание. – Наконец-то мы вас накрыли! – И, увидав часы в руках Давыда: – подай! – вопит отец, – подай часы!

Но Давыд, не говоря ни слова, подскакивает к раскрытому окну – и прыг из него на двор – да на улицу!

Привыкший подражать во всем моему образцу, я прыгаю тоже, я бегу вслед за Давыдом...

«Лови! держи!» – гремят за нами дикие, смешанные голоса.

Но мы уже мчимся по улице, без шапок на головах. Давыд вперед, я в нескольких шагах от него позади, а за нами топот и гвалт погони!

## XIX

Много лет протекло со времени всех этих происшествий; я не раз размышлял о них – и до сих пор так же не могу понять причины той ярости, которая овладела моим отцом, столь недавно еще запретившим самое упоминание при нем этих надоевших ему часов, как я не мог понять тогда бешенства Давыда при известии о похищении их Василием. Поневоле приходит в голову, что в них заключалась какая-то таинственная сила. Василий не выдал нас, как это предполагал Давыд, – не до того ему было: он слишком сильно перетрусился, – а просто одна из наших девушек увидела часы в его руках и немедленно донесла об этом тетке. Сыр-бор и загорелся.

Итак, мы мчались по улице, по самой ее середине. Попадавшие нам прохожие

останавливались или сторонились в недоумении. Помнится, один отставной секунд-майор[35], известный борзятник[36], внезапно высунулся из окна своей квартиры и, весь багровый, с туловищем на перевесе, неистово заулюлюкал! «Стой! держи!» – продолжало греметь за нами. Давыд бежал, крутя часы над головой, изредка вспрыгивая; я вспрыгивал тоже, и там же, где он.

– Куда? – кричу я Давыду, видя, что он сворачивает с улицы в переулок, и сворачивая вслед за ним.

– К Оке! – кричит он. – В воду их, в реку, к черту!

– Стой, стой! – режут за нами...

Но мы уже летим по переулку. Вот нам навстречу уже повеяло холодком – и река перед нами, и грязный, крутой спуск, и деревянный мост с вытянутым по нем обозом, и гарнизонный солдат с пикой возле шлагбаума, – тогда солдаты ходили с пиками... Давыд уже на мосту, мчится мимо солдата, который старается ударить его по ногам пикой – и попадает в проходившего теленка. Давыд мгновенно вскакивает на перила – он издает радостное восклицание... Что-то белое, что-то голубое сверкнуло, мелькнуло в воздухе – это серебряные часы вместе с бисерным Васильевым шнурком полетели в волны... Но тут совершается нечто невероятное! Вслед за часами ноги Давыда вскидываются вверх – и сам он весь, голову вниз, руки вперед, с разлетевшимися фалдами куртки, описывает в воздухе крутую дугу – в жаркий день так вспугнутые лягушки прыгают с высокого берега в воду пруда – и мгновенно исчезает за перилами моста... а там – бух! и тяжкий всплеск внизу...

Что со мною стало – я совершенно не в силах описать. Я находился в нескольких шагах от Давыда, когда он спрыгнул с перил... но я даже не помню, закричал ли я; не думаю даже, что я испугался: я онемел, я одурел. Руки, ноги отнялись. Вокруг меня толкались, бегали люди; некоторые из них мне показались знакомыми: Трофимыч вдруг промелькнул, солдат с пикой бросился куда-то в сторону, лошади обоза поспешно проходили мимо, задравши кверху привязанные морды... Потом все позеленело, и кто-то меня сильно толкнул в затылок и вдоль всей спины... Это я в обморок упал.

Помню, что я потом приподнялся и, видя, что никто не обращает на меня внимания, подошел к перилам, но не с той стороны, с которой спрыгнул Давыд: подойти к ней мне казалось страшным, – а к другой, и стал глядеть на реку, бурливую, синюю, вздутую; помню, что недалеко от моста, у берега, я заметил причаленную лодку, а в лодке несколько людей, и один из них, весь мокрый и блестящий на солнце, перегнувшись с края лодки, вытаскивал что-то из воды, что-то не очень большое, какую-то продолговатую темную вещь, которую я сначала принял за чемодан или корзину; но, всмотревшись попристальнее, я увидел, что эта вещь была – Давыд! Тогда я весь вострепнулся, закричал благим матом и побежал к лодке, проталкиваясь сквозь народ, а подбежав к ней, оробел и стал оглядываться. В числе людей, обступивших ее, я узнал Транквиллитатина, повара Агапита, с сапогом в руке, Юшку, Василья... Мокрый, блестящий человек выволок под мышки из лодки тело Давыда, обе руки которого поднимались в уровень лица, точно он закрыться хотел от чужих взоров, и положил его в приборную грязь, на спину. Давыд не шевелился, словно вытянулся, свел пятки и выставил живот. Лицо его было зеленовато, глаза подкатились, и вода капала с головы. Мокрый человек, который его вытащил, фабричный по одежде, начал рассказывать, дрожа от холода и беспрестанно отводя волосы ото лба, как он это сделал. Очень он прилично и старательно рассказывал:

– Вижу я, господа, что за причина? Как ахнет этта малец с мосту... Ну!.. Я сейчас бегом по течению вниз, потому знаю – попал он в самое стремя, пронесет его под мостом, ну, а там... поминай, как звали! Смотрю: шапка така мохнатенькая плывет, ан это – его голова. Ну, я сейчас живым манером в воду, сгреб его... Ну, а тут уже не мудрость!

В толпе послышалось два-три одобрительных слова.

– Согреться теперь тебе надо, пойдем шкальчик[37] выкушаем, – заметил кто-то.

Но тут вдруг кто-то судорожно продирается вперед... Это Василий.

– Что же это вы, православные, – кричит он слезливо, – откачивать его надо! Это

наш барчук!

– Откачивать его, откачивать! – раздается в толпе, которая беспрестанно прибывает.

– За ноги повесить! Лучшее средство!

– На бочку брюхом, да и катай его взад и вперед, пока что... Бери его, ребята!

– Не смей трогать! – вмешивается солдат с пикой. – На гуптевахту[38] стащить его надо.

– Сволочь! – доносится откуда-то бас Трофимыча.

– Да он жив! – кричу я вдруг во все горло, почти с ужасом.

Я приблизил было свое лицо к его лицу... «Так вот каковы утопленники», – думалось мне, и душа замирала... И вдруг я вижу – губы Давыда дрогнули, и его немножко вырвало водою...

Меня тотчас оттолкнули, оттащили; все бросились к нему.

– Качай его, качай! – зашумели голоса.

– Нет, нет, стой! – закричал Василий. – Домой его... домой.

– Домой, – подхватил сам Транквиллитатин.

– Духом его сомчим, там виднее будет, – продолжал Василий... (Я с того дня полюбил Василия.) – Братцы! рогожки нет ли? А не то – берись за голову, за ноги...

– Постой! Вот рогожка! Клади! Подхватывай! Трогай! Важно: словно в колымаге[39] поехал.

И несколько мгновений спустя Давыд, несомый на рогоже, торжественно вступил под кров нашего дома.

XX

Его раздели, положили на кровать. Уже на улице он начал подавать знаки жизни, мычал, махал руками... В комнате он совсем пришел в себя. Но как только опасения за жизнь его миновались и возиться с ним было уже не для чего – негодование вступило в свои права: все оступились от него, как от прокаженного[40].

– Покарай его бог! покарай его бог! – визжала тетка на весь дом. – Сбудьте его куда-нибудь, Порфирий Петрович, а то он еще такую беду наделает, что не расхлебаешь!

– Это, помилуйте, это аспид[41] какой-то, да и бесноватый, – поддакивал Транквиллитатин.

– Злость, злость-то какая, – трещала тетка, подходя к самой двери нашей комнаты, для того чтобы Давыд ее непременно услышал, – перво-наперво украл часы, а потом их в воду... Не доставайся, мол, никому... На-ка!

Все, все негодовали!

– Давыд, – спросил я его, как только мы остались одни, – для чего ты это сделал?

– И ты туда же, – возразил он все еще слабым голосом: губы у него были синие, и весь он словно припух. – Что я такое сделал?

– Да в воду зачем прыгнул?

– Прыгнул! Не удержался на перилах, вот и вся штука. Умел бы плавать – нарочно бы прыгнул. Выучусь непременно. А зато часы теперь – тю-тю!..

Но тут отец мой торжественным шагом вошел в нашу комнату.

– Тебя, любезный мой, – обратился он ко мне, – я выпорю непременно, не сомневайся, хоть ты поперек лавки уже не ложишься. – Потом он подступил к постели, на которой лежал Давыд. – В Сибири, – начал он внушительным и важным тоном, – в Сибири, сударь ты мой, на каторге, в подземельях живут и умирают люди, которые менее виноваты, менее преступны, чем ты! Самоубивец ты, или просто вор, или уже вовсе дурак? – скажи ты мне одно, на милость?!!

– Не самоубивец я и не вор, – отвечал Давыд, – а что правда, то правда: в Сибирь попадают хорошие люди, лучше нас с вами... Кому же это знать, коли не вам?

Отец тихо ахнул, отступил шаг назад, посмотрел пристально на Давыда, плюнул и, медленно перекрестившись, вышел вон.

– Не любишь? – проговорил ему вслед Давыд и язык высунул. Потом он попытался подняться – однако не мог. – Знать, как-нибудь расшибся, – промолвил он, кряхтя и морщась. – Помнится, о бревно меня водой толкнуло... Видел ты Раису? – прибавил он вдруг.

– Нет, не видел... Стой! стой! стой! Теперь я вспоминаю: уж не она ли стояла на берегу, возле моста? Да... Темное платье, желтый платок на голове... Должно, она!

– Ну, а потом... видел ты ее?

– Потом... Я не знаю. Мне не до того было... Ты тут прыгнул...

Давыд всполошился.

– Голубчик, друг, Алеша, сходи к ней сейчас, скажи, что я здоров, что ничего со мною. Завтра же я у них буду. Сходи скорее, брат, одолжи!

Давыд протянул ко мне обе руки... Его высохшие рыжие волосы торчали кверху забавными вихрами... но умиленное выражение его лица казалось от того еще более искренним. Я взял шапку и вышел из дому, стараясь не попасться на глаза отцу и не напомнить ему его обещания.

XXI

«И в самом деле, – размышлял я, идучи к Латкиным, – как же это я не заметил Раисы? Куда она делась? Должна же она была видеть...»

И вдруг я вспомнил: в самый момент Давыдова падения у меня в ушах зазвенел страшный, раздирающий крик...

Уж не она ли это? Но как же я потом ее не видел?

Перед домиком, в котором квартировал Латкин, расстилался пустырь, заросший крапивой и обнесенный завалившимся плетнем. Едва перебрался я через этот плетень (ни ворот, ни калитки не было нигде), как моим глазам представилось следующее зрелище. На нижней ступеньке крыльчика, перед домом, сидела Раиса; облокотившись на колени и подперев подбородок скрещенными пальцами, она глядела прямо в упор перед собою; возле нее стояла ее немая сестричка и преспокойно помахивала кнутиком; а перед крыльцом, спиной ко мне, в изорванном и истасканном камзоле, в подштаниках и с валенками на ногах, болтая локтями и кривляясь, семенил на месте и подпрыгивал старик Латкин. Услышав мои шаги, он внезапно обернулся, присел на корточки – и, тотчас подскочив ко мне, заговорил чрезвычайно быстро, трепетным голосом, с беспрестанными: чу, чу, чу! Я остолбенел. Я давно его не видал и, конечно, не узнал бы его, если б встретился с ним в другом месте. Это сморщенное, беззубое, красное лицо, эти круглые, тусклые глазки, взъерошенные седины, эти подергиванья, эти прыжки, эта бессмысленная, косноязычная речь... Что это такое? Что за нечеловеческое отчаяние терзает это несчастное существо? Что за «пляска смерти»?

– Чу, чу, – лепетал он, не переставая корчиться, – вот она, Васильевна, сейчас, чу, чу, вошла... Слышь! кор... рытом по крышке (он хлопнул себя рукою по голове) – и сидит этак лопатой и косяя, косяя, как Андрюшка; косяя Васильевна! (Он, вероятно, хотел сказать: немая.) Чу! косяя моя Васильевна! Вот они обе теперь на одну корку... Полюбуйтесь, православные! Только у меня и есть эти две лодочки!

А?

Латкин, очевидно, сознавал, что говорил не то, неладно, и делал страшные усилия, чтобы растолковать мне, в чем было дело. Раиса, казалось, не слышала вовсе, что говорил ее отец, а сестричка продолжала похлопывать кнутиком.

– Прощай, брильянтик, прощай, прощай! – протянул Латкин несколько раз сряду, с низкими поклонами, как бы обрадовавшись, что поймал наконец понятное слово.

У меня голова кругом пошла.

– Что это все значит? – спросил я какую-то старуху, выглядывавшую из окна домика.

– Да что, батюшка, – отвечала та нараспев, – говорят, человек какой-то – и кто он, господь его знает – тонуть стал, а она это видела. Ну, перепугалась, что ли; пришла, однако... ничего; да как села на рундучок[42] – с той самой поры вот и сидит, как истукан какой; хоть ты говори ей, хоть нет. Знать, ей тоже без языка быть. Ахти-хти!

– Прощай, прощай, – повторял Латкин все с теми же поклонами.

Я подошел к Раисе и остановился прямо перед нею.

– Раисочка, – закричал я, – что с тобою?

Она ничего не отвечала; словно и не заметила меня. Лицо ее не побледнело, не изменилось – но какое-то каменное стало, и выражение на нем такое... как будто вот-вот сейчас она заснет.

– Да косая же она, косая, – лепетал мне в ухо Латкин.

Я схватил Раису за руку.

– Давыд жив, – закричал я громче прежнего, – жив и здоров; жив Давыд, ты понимаешь? Его вытащили из воды, он теперь дома и велел сказать, что завтра придет к тебе... Он жив!

Раиса как бы с трудом перевела глаза на меня; мигнула ими несколько раз, все более и более их расширяя, потом нагнула голову набок, понемногу побагровела вся, губы ее раскрылись... Она медленно, полной грудью потянула в себя воздух, сморщилась как бы от боли и, с страшным усилием проговорив: «Да... Дав... жи... жив», – порывисто встала с крыльца и устремилась...

– Куда? – воскликнул я.

Но, слегка похотывая и пошатываясь, она уже бежала через пустырь...

Я, разумеется, пустился за нею, между тем как позади меня поднялся дружный старческий и детский вопль Латкина и глухонемой... Раиса мчалась прямо к нам.

«Вот выдался денек! – думал я, стараясь не отставать от мелькавшего передо мною черного платъица... – Ну!»

XXII

Минуя Василья, тетку и даже Транквиллитатина, Раиса вбежала в комнату, где лежал Давыд, и прямо бросилась ему на грудь.

– Ох... ох... Да... выдушко, – зазвенел ее голос из-под рассыпанных ее кудрей, – ох!

Сильно взмахнув руками, обнял ее Давыд и приник к ней головою.

– Прости меня, сердце мое, – послышался и его голос.

И оба словно замерли от радости.

– Да отчего же ты ушла домой, Раиса, для чего не осталась? – говорил я ей... Она

Часы. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
все еще не приподнимала головы. – Ты бы увидела, что его спасли...

– Ах, не знаю! Ах, не знаю! Не спрашивай! Не знаю, не помню, как это я домой попала. Помню только: вижу тебя на воздухе... что-то ударило меня... А что после было...

– Ударило, – повторил Давыд. И мы все трое вдруг дружно засмеялись. Очень нам было хорошо.

– Да что же это такое будет, наконец! – раздался за нами грозный голос, голос моего отца. Он стоял на пороге двери. – Прекратятся ли наконец эти дурачества или нет? Где это мы живем? В российском государстве или во французской республике?

Он вошел в комнату.

– Во Францию ступай, кто хочет бунтовать да беспутничать! А ты как смела сюда пожаловать? – обратился он к Раисе, которая, тихонько приподнявшись и повернувшись к нему лицом, видимо, заробела, но продолжала улыбаться какой-то ласковой и блаженной улыбкой. – Дочь моего заклятого врага! Как ты дерзнула? Еще обниматься вздумала! Вон сейчас! а не то...

– Дядюшка, – промолвил Давыд и сел в постели. – Не оскорбляйте Раисы. Она уйдет... только вы не оскорбляйте ее.

– А ты что мне за уставщик? Я ее не оскорбляю, не ос... кор... бляю! а просто гоню ее. Я тебя еще самого к ответу потяну. Чужую собственность затратил, на жизнь свою посягнул, в убытки ввел...

– В какие убытки? – перебил Давыд.

– В какие? Платье испортил – это ты за ничто считаешь? Да на водку я дал людям, которые тебя принесли! Всю семью перепугал да еще фордыбачится? А коли сия девица, забыв стыд и самую честь...

Давыд рванулся с постели.

– Не оскорбляйте ее, говорят вам!

– Молчи!

– Не смейте...

– Молчи!

– Не смейте позорить мою невесту, – закричал Давыд во всю голову, – мою будущую жену!

– Невесту! – повторил отец и выпучил глаза. – Невесту! Жену! Хо, хо, хо!.. (Ха, ха, ха, – отозвалась за дверью тетка). Да тебе сколько лет-то? Без году неделю на свете живет, молоко на губах не обсохло, недоросль! И жениться собирается! Да я!.. да ты...

– Пустите, пустите меня, – шепнула Раиса и направилась к двери. Она совсем помертвела.

– Я не у вас позволения буду просить, – продолжал кричать Давыд, опираясь кулаками на край постели, – а у моего родного отца, который не сегодня-завтра сюда приехать должен! Он мне указ, а не вы; а что касается до моих лет, то нам с Раисой не к спеху... подождем, что вы там ни толкуйте...

– Эй, Давыдка, опомнись! – перебил отец, – посмотри на себя: ты растерзанный весь... Приличие всякое потерял!

Давыд захватил рукою на груди рубашку.

– Что вы ни толкуйте, – повторил он.

Часы. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

– Да зажди же ему рот, Порфирий Петрович, зажди ему рот, – запищала тетка из-за двери, – а эту потаскушку, эту негодницу... эту...

Но, зная, нечто необыкновенное пресекло в этот миг красноречие моей тетки: голос ее порвался вдруг, и на место его послышался другой, старчески сиплый и хилый...

– Брат, – произнес этот слабый голос. – Христианская душа!

XXIII

Мы все обернулись... Перед нами, в том же костюме, в каком я его недавно видел, как привидение, худой, жалкий, дикий, стоял Латкин.

– А бог! – произнес он как-то по-детски, поднимая кверху дрожащий изогнутый палец и бессильным взглядом осматривая отца. – Бог покарал! а я за Ва... за Ра... да, да, за Раисочкой пришел! Мне... чу! мне что? Скоро в землю – и как это бишь? Одна палочка, другая... перекладинка – вот что мне... нужно... А ты, брат, брильянтик... Смотри... ведь и я человек!

Раиса молча перешла через комнату и, взяв Латкина под руку, застегнула ему камзол.

– Пойдем, Васильевна, – заговорил он, – тутотка всё святые; к ним не ходи. И тот, что вон там в футляре лежит, – он указал на Давыда, – тоже святой. А мы, брат, с тобою грешные. Ну, чу... простите, господа, старичка с перчиком! Вместе крали! – закричал он вдруг. – Вместе крали! вместе крали! – повторил он с явным наслаждением: язык наконец послушался его.

Мы все в комнате молчали.

– А где у вас... икона тут? – спросил он, закидывая голову и подкатывая глаза, – почиститься надо.

Он стал молиться на один из углов, умиленно крестясь, по нескольку раз сряду стуча пальцами то по одному плечу, то по другому и торопливо повторяя: «Помилуй мя, го... мя го... мя го!..» Отец мой, который все время не сводил глаз с Латкина и слова не промолвил, вдруг востропел, встал с ним рядом и тоже начал креститься. Потом он обернулся к нему, поклонился низко-низко, так, что одной рукой достал до полу, и, проговорив: «Прости меня и ты, Мартиньян Гаврилыч», поцеловал его в плечо. Латкин ему в ответ чмокнул губами в воздухе и заморгал глазами: едва ли он хорошенько понимал, что он такое делает. Потом отец мой обратился ко всем находившимся в комнате, к Давыду, к Раисе, ко мне.

– Делайте, что хотите, поступайте, как знаете, – промолвил он грустным и тихим голосом – и удалился.

Тетка подъехала было к нему, но он окрикнул ее резко и сурово. Он был потрясен.

– Мя го... мя го... помилуй! – повторял Латкин. – Я человек!

– Прощай, Давыдушко, – сказала Раиса и вместе со стариком тоже вышла из комнаты.

– Завтра у вас буду! – крикнул ей вслед Давыд и, повернувшись лицом к стене, прошептал: – Устал я очень; теперь соснуть бы не худо, – и затих.

Я долго не выходил из нашей комнаты. Я прятался. Я не мог забыть, чем отец мне погрозил. Но мои опасения оказались напрасны. Он встретил меня – и хоть бы слово проронил. Ему самому, казалось, было неловко. Впрочем, ночь скоро наступила – и все успокоилось в доме.

XXIV

На следующее утро Давыд встал как ни в чем не бывало, а недолго спустя, в один и тот же день, совершились два важных события: утром старик Латкин умер, а к вечеру приехал в Рязань дядя Егор, Давыдов отец. Не прислав предварительного письма, никого не предупредив, свалился он, как снег на голову. Отец мой переполошился чрезвычайно и не знал, чем угостить, куда посадить дорогого гостя, метался как угорелый, суетился как виноватый; но дядю, казалось, не слишком трогало хлопотливое усердие брата; он то и дело повторял: «к чему это?» да: «не



Часы. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

надо мне ничего». С теткой он обошелся еще холоднее; впрочем, и она не больно его жаловала. В глазах ее он был безбожником, еретиком, вольтеррианцем...[43] (он действительно выучился французскому языку, чтобы читать в подлиннике Вольтера). Я нашел дядю Егора таким, каким описывал мне его Давыд. Это был крупный, тяжелый мужчина, с широким рябым лицом, важный и серьезный. Он постоянно носил шляпу с плюмажем, манжеты, жабо[44] и табачного цвета камзол с стальной шпагой на бедре. Давыд обрадовался ему несказанно – даже просветлел и похорошел лицом, и глаза стали у него другие – веселые, быстрые и блестящие; но он всячески старался умерить свою радость и не высказывать ее словами: он боялся смалодушничать. В первую же ночь после приезда дяди Егора они оба – отец и сын – заперлись в отведенной ему комнате и долго беседовали вполголоса; на другое утро я заметил, что дядя как-то особенно ласково и доверчиво посматривал на своего сына: очень он им казался доволен. Давыд повел его на панихиду к Латкиным; я тоже пошел туда; отец мне не препятствовал, но сам остался дома. Раиса поразила меня своим спокойствием: побледнела она и похудела очень, но слез она не проливала и говорила и держалась очень просто; и со всем тем, странно сказать, я в ней находил некоторую величавость; невольную величавость горя, которое само себя забывает! Дядя Егор тут же, на паперти, познакомился с нею; по тому, как он с ней обращался, видно было, что Давыд ему уже говорил о ней. Она ему понравилась не хуже собственного сына: я это мог прочесть в Давыдовых глазах, когда он глядел на них обоих. Помню, как они заблестали, когда его отец сказал при нем, говоря о ней: «умница; хозяйка будет». В доме Латкиных мне рассказывали, что старик тихо погас, как догоревшая свечка, и, пока не лишился сил и сознания, все гладил свою дочь по волосам и что-то приговаривал невнятное, но не печальное, и все улыбался. На похороны, в церковь и на кладбище мой отец пошел и очень усердно молился; даже Транквилиатин пел на клиросе. Перед могилой Раиса вдруг зарыдала и упала лицом на землю; однако скоро оправилась. Сестричка ее, глухонемая, озидала всех и все большими, светлыми и немного дикими глазами, от времени до времени она жалась к Раисе, но испуга в ней не замечалось. На другой же день после похорон дядя Егор, который, по всему было видно, приехал из Сибири не с пустыми руками (деньги на похороны дал он и Давыдова спасителя наградил щедро), но который о своем тамшнем житье-бытье ничего не рассказывал и никаких своих планов на будущее не сообщал, – дядя Егор внезапно объявил моему отцу, что не намерен остаться в Рязани, а уезжает в Москву вместе с сыном. Мой отец, приличия ради, выказал сожаление и даже попытался – очень, правда, слабо – изменить дядино решение; но в глубине души своей он, я полагаю, очень ему обрадовался.

Присутствие брата, с которым у него было слишком мало общего, который не удостоил его даже упрека, который даже не пренебрегал, а просто брезгал им, – угнетало его... да и расстаться с Давыдом не составляло для него особенного горя. Меня, разумеется, разлука эта уничтожила; я словно осиротел на первых порах и потерял всякую опору в жизни и всякую охоту к ней.

Так-таки дядя уехал и увез с собою не только Давыда, но, к великому изумлению и даже негодованию всей нашей улицы, и Раису, и ее сестричку... Узнав о таком его поступке, тетка немедленно назвала его туркой и называла его туркой до самого конца своей жизни.

А я остался один, один... Но дело не обо мне.

XXV

Вот и конец моей истории с часами. Что еще сказать вам? Пять лет спустя Давыд женился на своей Черногубке, а в 1812 году, в чине артиллерийского поручика, погиб славной смертью в день Бородинской битвы, защищая Шевардинский редут[45].

С тех пор много утекло воды, и много часов у меня перебивало; я дошел даже до такого великолепия, что приобрел себе настоящий брегет, с секундной стрелкой, обозначением чисел и репетицией...[46] Но в потаенном ящике моего письменного стола хранятся старинные серебряные часы с розаном на циферблате; я их купил у жида-разносчика, пораженный их сходством с часами, некогда подаренными мне моим крестным отцом. От времени до времени, когда я один и никого к себе не жду, я вынимаю их из ящика и, глядя на них, вспоминаю молодые дни и товарища тех дней, безвозвратно улетевших...

Париж, 1875 г.

Примечания

1

Хождение по делам тяжбы – адвокатская практика, ведение судебных дел, в старину называвшихся тяжбами.

2

Подьячий – мелкий чиновник (в допетровской Руси подьячим назывался писец, помощник дьяка).

3

Стряпчий – ходатай по делам, частный поверенный, адвокат.

4

Якобинский образ мыслей – революционный образ мыслей (якобинцами во Франции в эпоху буржуазной революции 1789 года назывались наиболее решительные сторонники уничтожения власти короля и аристократии).

5

Сутяга – человек, который ради наживы возбуждает вздорные судебные дела или тяжбы.

6

Часы луковицей – карманные старинные часы с выпуклым толстым стеклом, напоминающие своей формой луковицу.

7

Томпаковые часы – часы с крышкой из томпака, дешевого сплава меди и цинка.

8

Елизаветинский рубль – старинный серебряный рубль, отчеканенный при императрице Елизавете Петровне (1741–1761).

9

Сражант – то есть сержант.

10

Курная избушка – изба, которая отапливалась по-черному, без трубы: дым из устья печи расходился по всей избе и выходил наружу через дверь или особое оконце.

11

Фуктель (правильно: «фүхтель») – удар по спине плашмя обнаженной саблей или шашкой; по-калегвардски (правильно: «по-кавалергардски») – по-гвардейски (кавалергарды – в царской армии тяжелая гвардейская кавалерия).

12

Шпонтоны (правильно: «эспонтоны») – короткие пики, бывшие на вооружении в некоторых частях русской армии XVIII века.

13

Фальцет – тонкий, визгливый голос.

14

Алтын – старинное название трехкопеечной монеты.

15

Казачок – крепостной мальчик, взятый в услужение в барский дом.

16

Камзол – часть старинного мужского костюма, род жилета.

17

Семинарист – учащийся в духовной семинарии – учебном заведении, которое готовило служителей церкви.

18

Фризовый кафтан – кафтан из грубой ворсистой ткани вроде байки.

19

Гренадер – солдат гренадерского полка. В гренадеры подбирались солдаты очень высокого роста.

20

Просьбенный и приказный слог – усложненный, запутанный канцелярский слог, который употреблялся в официальных бумагах (прошениях, свидетельствах, приказах и т. д. ).

21

Кунштюк – ловкая проделка.

22

Куманика (команика) – темно-красная лесная ягода, похожая на ежевику.

23

Сафьян – тонко выделанная козловая кожа.

24

В 1799 году русские войска под командованием великого полководца Суворова одержали блестящие победы над французской армией в Италии и Швейцарии.

25

Шушун – старинная женская верхняя одежда, род телогрейки.

26

Ша, твердо, он, буки, ер, червь – старинные названия букв: ш, т, о, б, ъ, ч.

27

Торбан – народный струнный инструмент.

28

Иезоп – бранное слово, произведенное от имени древнегреческого баснописца Эзопа.

29

Беспардонный – здесь: бесстрашный, отчаянный (от французского слова «pardon» – прощение).

30

Яства – кушанья, блюда (старинное слово от глагола «ясти» – есть, кушать).

31

Людская – помещение для дворовых слуг в помещичьем доме; иногда для этой цели служило особое строение, называвшееся людской избой.

32

Лепта – подаяние, пожертвование.

33

Очинил перо. – При писании гусиными перьями перо приходилось каждый раз заново чинить, то есть обрезать и расщеплять его заостренный конец.

34

Пудрамант (правильнее: «пудромантэль») – легкая накидка, которую надевали на плечи во время пудрения лица, головы.

35

Секунд-майор – офицерский чин в русской армии XVIII века, следующий за чином капитана.

36

Борзятник – любитель охотиться с борзыми собаками.

37

Шкальчик – стакан водки.

38

Гуптевахта (правильно: «гауптв́ахта») – караульное помещение.

39

Колымага – старинная громоздкая карета.

40

Прокаженный – больной проказой, заразной кожной болезнью, которая считалась неизлечимой.

41

Аспид – ядовитая змея; в бранном смысле – злой, ехидный человек.

42

Рундучок, рундук – здесь: крыльцо.

43

Так в конце XVIII – начале XIX века в реакционных и обывательских кругах принято было называть свободомыслящих, передовых людей. Слово «вольтерIANец» было произведено от имени французского философа-просветителя и писателя Вольтера (1694–1778).

44

Плюмаж – украшение из перьев в виде султана; манжеты – кружевные обшлага; жабо – сборчатая кружевная нашивка у воротника.

45

Часы. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

Шевардинский редут – одно из главных укреплений в системе русских позиций в великой битве при Бородине (24–26 августа 1812 года). Вокруг Шевардинского редута 24 августа развернулось кровопролитное сражение.

46 Брежет – старинные часы работы французского мастера Брегэ; они показывали, кроме часов и минут, числа месяца; репетицией назывался особый механизм в часах, отбивавший время.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://turgenevivan.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!